

*Та, что слышит
землю. История
одной ведьмы*

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

**Та, что слышит землю.
История одной ведьмы**

«Автор»

2026

Патрушев С.

Та, что слышит землю. История одной ведьмы / С. Патрушев — «Автор», 2026

Алиса, тридцатилетний SMM-специалист из Москвы, сжигает карьеру одним эффектным жестом — выливает кофе в ноутбук начальника и увольняется в никуда. Нервный срыв, панические атаки и полное опустошение — вот всё, с чем она остаётся. Когда нотариус сообщает о наследстве в забытом райцентре Забьевск, Алиса хватается за это как за знак: сбежать, спрятаться, отдышаться. Но дом прабабки, которую местные считали ведьмой, не обещает покоя. Половицы скрежещут, как зубы, в стенах слышен стук, а из тёмного угла за печкой за ней наблюдает тот, кто жил здесь задолго до неё. Дом не принимает чужаков. И он не один — древняя Тьма под холмом пробуждается, и только род Гореловых способен удержать её на границе. Чтобы выжить, Алисе придётся научиться тому, что знали её предки: плести защитные пояса, слышать голос земли и договариваться с духами. Но главное — принять себя не как сломленную городскую «клушу», а как звено в цепи женщин, стоящих за её спиной.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. «Бежать некуда»а	5
Глава 2. «Дом с зубами»	14
Глава 3. «Соседка с дурным глазом»	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Та, что слышит землю. История одной ведьмы

Глава 1. «Бежать некуда»а

В Москве оставаться было нельзя. Не потому что закончились деньги, хотя и они тоже подходили к концу с пугающей скоростью, сжираемые арендой, такси, нервными покупками ненужных вещей и бесконечными доставками еды, которую Алиса даже не ела толком, а ковыряла вилкой и выбрасывала. И не потому что закончились силы, хотя сил не было уже давно, они кончились примерно год назад, когда она впервые не смогла встать с кровати не потому что хотела спать, а потому что тело стало чужим, свинцовым, отказывающимся подчиняться даже самым простым командам вроде «подними руку» или «сделай вдох». Нет, в Москве оставаться было нельзя, потому что кончился воздух. Он вышел весь, до последней молекулы, в тот самый момент, когда Аркадий, этот напомаженный хорёк в рубашке от Бриони, которую он купил на премию за проект, проваленный Алисиными руками, закрыл презентацию её новой стратегии со словами «слишком нервно, Алиса, аудитория хочет позитива, а не вот этого вот всего». Он сказал это с такой лёгкой, светской улыбкой, с таким снисходительным превосходством, что у неё на мгновение помутилось в глазах. «Вот это вот всё» стоило ей трёх месяцев без сна. Трёх месяцев, в течение которых она забыла, как выглядит дневной свет, не потому что работала в подвале, а потому что выходила из офиса затемно, а приходила в офис до рассвета, и единственным источником ультрафиолета был мертвенный свет монитора. «Вот это вот всё» стоило ей обострившегося гастрита, который она заедала омепразолом и заливала холодным кофе, потому что горячий обжигал воспалённый пищевод. «Вот это вот всё» стоило ей ежедневных перекуров на балконе съёмной квартиры, который выходил аккурат на серую стену бизнес-центра, построенного так близко, что, высунув руку, можно было дотронуться до его холодного, равнодушного бока. Алиса смотрела на эту стену каждый день, утром и вечером, в дождь и в снег, и чувствовала, как из неё, словно из проколотого воздушного шарика, с тонким, почти неслышным свистом выходит жизнь. Не уходит, не утекает, а именно выходит, как выходит воздух, оставляя после себя сморщенную резиновую оболочку, лишь отдалённо напоминающую то, чем она была раньше.

Она была хорошим SMM. Даже отличным. Лучшим в их грёбаном агентстве, если быть до конца честной, а врать себе Алиса разучилась ещё на первом курсе журфака, когда поняла, что её тексты интереснее лекций профессоров. Она понимала алгоритмы лучше, чем людей. Она чувствовала тренды кожей, за неделю до того, как они становились мейнстримом. Она могла проснуться в три часа ночи от смутного ощущения, что вот этот конкретный мем нужно публиковать прямо сейчас, и не ошибалась. Но проблема была именно в людях. В живых, реальных людях, которые окружали её в офисе, а не в аватарах, которые она с лёгкостью вела к покупке или подписке. В людях и в звуках. Звуки стали невыносимыми примерно полгода назад, и это было первым звоночком, который она проигнорировала. Звук метро, этот низкий, вибрирующий гул, проникающий сквозь наушники с активным шумоподавлением. Звук уведомлений в десяти мессенджерах, каждый из которых требовал её немедленного внимания, её реакции, её включённости двадцать четыре на семь. Звук голоса матери в трубке, этот вечный, изматывающий фон из пассивной агрессии, невысказанных претензий и фальшивой заботы. Звук собственного пульса в висках перед сном, когда она лежала в темноте и считала удары, молясь, чтобы сердечный ритм наконец замедлился и позволил ей провалиться в небытие. Она держа-

лась из последних сил. Держалась на бетонной плите воли, которая в один прекрасный вторник дала трещину. Сначала по плите побежали тонкие, паутинообразные линии, едва заметные глазу. А потом она разлетелась на куски, и произошло это, как ни странно, не в момент катастрофы, а в момент абсолютного, почти медитативного спокойствия.

Когда Аркадий в очередной раз произнёс «конверсия» с ударением на второй слог, с этим его дурацким, деланным прононсом, который должен был имитировать оксфордское образование, но на деле выдавал в нём выпускника провинциального иняза, Алиса вдруг почувствовала, как мир замедлился. Это было похоже на эффект от транквилизаторов, только она не принимала их перед совещанием. Краски стали ярче, звуки отчётливее, время растянулось, как жвачка, прилипшая к подошве. Она видела, как двигаются губы Аркадия, как блестит его лоб под точечным светом конференц-ламп, как дрожит капелька пота на его виске. Она видела лица коллег, застывшие в гримасах вежливого внимания, готовые в любой момент смениться на гримасы подбострастного смеха, если Аркадий пошутит. И в этой застывшей, как в янтаре, секунде Алиса приняла решение. Не подумала, не взвесила, не просчитала риски — она просто перестала держаться. Она встала.

Стул отъехал назад с противным скрежетом, который в обычной ситуации заставил бы её съёжиться, но сейчас она даже не заметила. Она взяла со стола его стакан с латте на кокосовом, с этим его вечным кокосовым молоком, от запаха которого её мутило уже год. Взяла аккуратно, почти нежно, как берут новорождённого котёнка. Поднесла к его макбуку. И медленно, давая всем присутствующим возможность оценить происходящее, вылила молочную пену прямо в щель между клавишами. Раздалось короткое, сухое шипение, запахло палёным пластиком. Алиса наклонилась к самому уху Аркадия, так близко, что почувствовала запах его парфюма, сладкий и приторный, и сказала шёпотом, который почему-то слышали все в комнате, даже те, кто сидел в дальнем конце стола: «Ты бездарная пластмасса, Аркадий».

Твоя аудитория хочет сдохнуть от тоски, глядя на твой позитив». В офисе повисла тишина. Не просто тишина, а та самая, звенящая, космическая тишина, которая бывает перед запуском ракеты или перед расстрелом. Её нарушал только звук короткого замыкания, убивающего материнскую плату, и где-то на фоне — тонкий, жалобный писк системного динамика, сообщающего о неисправности.

Через час она сидела в парке на Патриарших, смотрела на уток и осознавала, что только что сожгла единственный источник дохода, профессиональную репутацию и, возможно, всю свою карьеру в прибыльной сфере Москвы. Слухи в их индустрии разлетаются быстро, и уже к вечеру её имя будет облетать чаты в телеграме с пометкой «токсичная, неадекватная, неконтролируемая». Она понимала это отстранённо, как понимаешь прогноз погоды на завтра, который тебя уже не касается, потому что завтра тебя здесь не будет.

Дрожь в руках была такой сильной, что она не могла закурить. Сигарета выпадала из пальцев, ломалась, табак рассыпался по джинсам, а она всё пыталась и пыталась, потому что ритуал требовал завершения. Это было похоже не на злость, не на досаду, не на сожаление. Это был полный отказ системы. Как будто внутри что-то лопнуло, какой-то главный предохранитель, державший на себе всю конструкцию, и теперь вся энергия, весь этот безумный московский адреналин схлынул, как вода в сливное отверстие, оставив только ледяную, вязкую пустоту. Она сидела и ждала паники.

Паника была её старым, хорошо знакомым врагом. Паника приходила в метро, в очередях, в лифтах, в самолётах, в моменты внезапной, необъяснимой тишины. Паника имела свой запах — запах озона и мокрой шерсти — и свою текстуру — липкую, обволакивающую. Но сейчас паника не приходила. Вместо неё пришёл тупой, равнодушный покой, какой бывает после самой сильной истерики, когда организм, исчерпав все ресурсы, отключает эмоции за ненадобностью.

Телефон завибрировал. Она хотела сбросить, ожидая гневного звонка от эйчара или ещё более гневного — от самого Аркадия, который, оправившись от шока, наверняка захочет не просто уволить её, а уничтожить. Но номер был незнакомым. Стационарным, с длинным кодом области, которую она не видела в вызовах никогда, потому что эта область находилась где-то далеко, за пределами её картины мира. Голос в трубке был старым, пергаментным, с лёгким присвистом, как будто говорящий забыл вставить зубной протез. Представился нотариусом. Из Забьевска. Алиса переспросила название, потому что оно показалось ей вымышленным, каким-то сказочным, былинным. Забьевск. Город, который забыли. Или город, где всё забывают. Нотариус терпеливо повторил и спросил, знает ли она Анастасию Павловну Горелову. Алиса честно попыталась вспомнить.

Прокрутила в голове всю родню, которая была небогата: родители в разводе, мать живёт с новым мужем в Израиле, отец — где-то в Таиланде с молодой женой, моложе Алисы на пару лет. Бабушка по матери умерла десять лет назад, по отцу — ещё раньше. Вся родословная заканчивалась на этом поколении, дальше шёл туман, в который Алиса никогда не пыталась всматриваться. Ей хватало настоящего, чтобы не интересоваться прошлым. Но имя — Анастасия Павловна Горелова — всё же зацепилось за что-то в глубине памяти. За какой-то обрывок разговора, подслушанного в детстве, когда взрослые думали, что ребёнок спит.

Нотариус пояснил: это её двоюродная прабабка, сестра её родной прабабки, или что-то в этом роде, он сам путался в этих генеалогических ветвях, документы были старые, церковные, ещё дореволюционные. Она скончалась месяц назад в возрасте ста двух лет и всё это время прожила одна в доме на окраине Забьевска. И вот теперь, согласно завещанию, этот дом переходит к Алисе, как к единственной прямой наследнице. Алиса слушала и чувствовала, что сходит с ума. Или уже сошла. Или это розыгрыш. Или галлюцинация, вызванная нервным истощением. У неё нет прабабки. У неё нет дома. У неё вообще ничего нет — даже собственной кружки, она пьёт из той, что осталась от прошлых жильцов съёмной квартиры. Но нотариус прислал на электронную почту документы: скан свидетельства о смерти, скан завещания, заверенного местной администрацией, и даже скан какой-то купчей, датированной одна тысяча восемьсот каким-то годом.

На пожелтевшей от времени бумаге мелькнула фамилия Гореловых, и где-то на самом дне памяти, в том тёмном подвале, куда мозг складывает ненужные, травмирующие или просто непонятные воспоминания, зашевелилось смутное, зыбкое воспоминание. Бабушка, ещё живая, сидит на кухне их старой квартиры, и говорит матери шёпотом, думая, что Алиса не слышит: «...тётя Настя, которую все боялись, она знала такое, чего простым людям знать не положено». И мать шикает на неё, обрывает разговор, а бабушка качает головой и крестится мелко, быстро, как будто отгоняет нечистую силу.

Это ощущение — ощущение знака, судьбы, провидения, называйте как хотите — пришло не сразу. Сначала Алиса выкурила полпачки, сидя на лавочке и глядя на уток, которые жили

своей утиной жизнью, не подозревая о том, что в мире существуют дедлайны, конверсия и Аркадий Борисович с его кокосовым латте.

Потом, не отвечая на звонки, которые сыпались уже градом (статус «бывших коллег» она себе присвоила сама, не дожидаясь официальных бумаг из отдела кадров), она встала и пошла в ближайшую кофейню, где взяла двойной эспresso и открыла карты. Забывск. Точки на карте почти не было, пришлось приближать несколько раз, пока на серо-зелёном фоне спутникового снимка не проступила тонкая, извилистая нитка дороги, обрывающаяся среди бескрайних полей. Райцентр. Не деревня в классическом понимании, а нечто среднее между забытым богом посёлком городского типа и огромным кладбищем домов, где живые соседствуют с мёртвыми, а иногда и уступают им место.

Фотографий в сети было до обидного мало: ржавая стела на въезде с полустёртой надписью, пара покосившихся пятиэтажек советской постройки, чьи окна смотрели на мир пустыми глазницами, и — то, что заставило сердце Алисы пропустить удар — невероятной, пронзительной, щемящей красоты полуразрушенная колокольня, стоящая прямо посреди заросшего бурьяном пустыря. Кирпичная, старая, с осыпавшейся штукатуркой, сквозь которую проступала кладка восемнадцатого, а может, и семнадцатого века. Купола не было, креста не было, только остов, скелет, устремлённый в серое небо, и в его пустых оконных проёмах ветер пел какую-то бесконечную, тоскливую песню.

Алиса смотрела на эту колокольню, увеличивала фотографию, пока пиксели не расплылись в бессмысленное месиво, и что-то внутри неё замирало, останавливалось, как останавливается маятник в сломанных часах. Это было красиво и страшно одновременно. Это было совершенно, абсолютно не похоже на стену бизнес-центра. И тогда, глядя на эту колокольню, она подумала: «А почему бы и нет?» Ведь бежать действительно некуда. Все пути отрезаны. Мосты сожжены вместе с макбуком Аркадия. Сбережений хватит на месяц скромной московской жизни или на три, а то и четыре месяца жизни в такой дыре, как Забывск, где, по словам нотариуса, даже хлеб стоит втрое дешевле. Можно продать дом. Нотариус упомянул, что он «добротный, крепкий сруб», хотя и расположен на отшибе. Можно просто уехать. Спрятаться. Остыть. Отключить телефон и проспять неделю, две, месяц — столько, сколько потребуется, чтобы восстановить хоть какое-то подобие себя.

Алиса вдруг поняла, что это единственное, чего она хочет всем своим существом, каждой клеткой своего измученного, отравленного кортизолом организма. Не нового проекта, не реабилитации профессиональной репутации, не извинений перед Аркадием, которые она никогда, никогда в жизни не принесёт. Она хочет спать. Спать там, где нет звуковых раздражителей. Спать там, где нет вечно орущих курьеров, гудящей трассы, воющих сирен, звона бутылок, которые бомжи сдают в автомат под окнами. Она хочет тишины. Тотальной, абсолютной, могильной тишины, даже если эта тишина окажется воронкой, засасывающей её в окончательное безумие.

Сборы были стремительными, хаотичными, почти истерическими по своей энергии. В огромный чемодан на колёсиках, купленный когда-то для гипотетических путешествий в Европу, которые так и не случились, полетели вещи, категорически не подходящие для деревенской жизни. Шёлковые блузки пастельных тонов, которые мнутся от одного косого взгляда. Узкие джинсы, в которых не очень-то разгуляешься по бездорожью.

Ноутбук с тремя запасными зарядками, потому что Алиса всё ещё верила, что сможет работать удалённо, хотя нотариус предупредил, что связь там «так себе, милая, одна вышка на весь район, и ту ветром шатает». Пара книг, которые она никогда не прочитает, но возит с собой как тотем, как напоминание о той себе, которая ещё могла читать. И, конечно, аптечка. Целая отдельная сумка, выделенная под медикаменты. В неё Алиса сложила всё, что скопилось за годы борьбы с собственной нервной системой.

Феназепам, атаракс, афобазол (пустышка, но иногда помогает эффектом плацебо), пустырник в таблетках, магний в шипучих трубочках, глицин, который она рассасывала как конфеты, и экстренный запас снотворного, которое она старалась не трогать без крайней необходимости. Там же лежала мягкая справка от психиатра, которую она получила год назад, после того как не смогла встать с кровати три дня. Не потому что ленилась, не потому что была в депрессии (хотя и это тоже), а потому что каждый, абсолютно каждый звук вызывал рвотный спазм. Шорох шин за окном, бульканье воды в трубах, тиканье часов, собственное дыхание. Тогда психиатр, пожилая женщина с усталыми глазами и мягкими, успокаивающими движениями рук, поставила ей аккуратный диагноз: «тревожно-депрессивное расстройство, соматоформные реакции, рекомендовано стационарное лечение».

Алиса тогда посмеялась над «соматоформными реакциями», посмеялась горько, сквозь зубы, но когда у тебя немеет половина лица от стресса, когда сердце выпрыгивает из груди от звука входящего сообщения в рабочем чате, когда ты забываешь, как дышать, и приходится напоминать себе об этом сознательно — вдох, выдох, вдох, выдох, — становится не до смеха. Она напичкана таблетками, как химическая лаборатория перед инспекцией, но сейчас эти таблетки были нужны ей не для того, чтобы функционировать, а для того, чтобы просто выдерживать дорогу.

Поезд был выбран сознательно. Самолёты она ненавидела всей душой, ещё с тех пор, как в одном из перелётов у неё случилась паническая атака на высоте десять тысяч метров и она провела оставшиеся два часа, вцепившись в подлокотники и считая секунды до посадки. Поезд давал иллюзию контроля, иллюзию того, что в любой момент можно сойти, остановиться, выйти на перрон и вдохнуть воздух, не разряжённый кондиционерами.

Почти сутки в плацкарте, среди чужих людей, с их запахами, разговорами, храпом, чавканьем и бесконечным шуршанием пакетов, — это было испытание, но Алиса накидалась таблеток с запасом, нацепила маску для сна, беруши, вжалась в жёсткую полку и провалилась в тяжёлое, липкое, химическое забытьё. Ей снилась колокольня. Огромная, кирпичная, но не разрушенная, а целая, с золотым куполом, который слепил глаза даже во сне. Вокруг неё росли какие-то странные цветы, которых Алиса никогда не видела в реальности, — высокие, с тёмными, почти чёрными лепестками. Колокола молчали, но внутри кто-то пел. Не молитву, не псалом, а что-то тягучее, колыбельное, на языке, которого Алиса не знала, но странным образом понимала. От этого пения земля под ногами становилась мягкой, как тесто, и она проваливалась в неё, проваливалась медленно, без страха, без сопротивления, как в тёплую воду.

Проснулась она от тишины. Не от толчка, не от крика проводницы, не от скрежета тормозов, а от внезапной, оглушительной, звенящей тишины. Это была не просто тишина, а физическое ощущение плотности воздуха, который вдруг перестал вибрировать от движения. Поезд стоял. Алиса содрала маску для сна, вытащила беруши и зажмурилась от тусклого, серого света, сочащегося сквозь мутное стекло. За окном было небо — низкое, тяжёлое, сентябрьское, — и крохотное здание вокзала, сложенное из старого, потемневшего от времени кирпича.

Полустанок, а не вокзал, даже не станция в полноценном смысле слова — просто платформа и будка для дежурного. Названия не было видно, но проводница уже кричала на полвагона хриплым, простуженным голосом: «Забыевск! Кому Забыевск — выходим с вещами, долго стоять не будем, стоянка одна минута!» Алиса подхватила чемодан, сумку с лекарствами, кое-как натянула кроссовки и вывалилась на перрон. Чемодан с глухим стуком ударился об асфальт, который был не просто старым, а древним, в глубоких, заросших травой трещинах, и она огляделась, вдыхая воздух Забыевска. Он пах мокрой пылью, прелыми осенними листьями и рекой, хотя реки видно не было. И пахло дымом — где-то далеко, на окраине, топили печь, и этот запах, родной, почти забытый, вдруг резанул по сердцу острее, чем все московские стрессы вместе взятые. Перрон был пуст, если не считать сгорбленной фигуры в сером, застиранном платке, которая медленно, шаркающей походкой ковыляла вдоль состава к какой-то другой старухе с сумками. Больше никого. Поезд дёрнулся, лязгнул сцепкой и пополз дальше, растворяясь в серой дымке горизонта, и Алиса осталась одна на пустом перроне, с чемоданом, сумкой и колотящимся сердцем.

Это был не город-призрак. В городе-призраке есть своё, особенное величие распада, своя готическая эстетика, которую так любят фотографировать блогеры. Забыевск был другим. В нём не было величия, не было эстетики, не было ничего, что можно было бы красиво запостить. В нём было что-то другое — упрямое, цепкое, почти животное желание дожить, дотянуть, додышать последний воздух, прежде чем окончательно рассыпаться в пыль. Главная улица, которая гордо, с каким-то даже вызовом называлась проспектом Ленина, была застроена крепкими, двухэтажными купеческими домами девятнадцатого века, но половина из них зияла заколоченными окнами, а на оставшихся облупилась краска и покосились резные наличники. Где-то в центре виднелась вывеска «Сельпо» с недостающей буквой «ь», где-то ещё работала почта, судя по облупленному синему ящику у входа.

Дорога была разбита так, что лужи стояли во всех выбоинах, и в них отражалось серое, низкое небо. Алиса достала телефон, больше по привычке, чем из реальной необходимости. Связь была, но едва-едва — одна палочка, которая то появлялась, то исчезала. Интернет грузился так медленно, словно она попала в начало двухтысячных, в эпоху диалапа, когда одну картинку можно было скачивать полчаса. Карта показывала, что дом Гореловой находится где-то в конце проспекта Ленина, там, где асфальт окончательно переходит в грунтовку. Нужно было идти пешком, такси здесь, очевидно, не водилось, да и местные жители, если они тут вообще были, вряд ли пользовались агрегаторами. Она пошла. Чемодан гроыхал по ямам, колёсики цеплялись за траву, ручка резала ладонь, и каждый шаг отдавался тупой болью в позвоночнике. От долгого лежания в поезде и химического сна всё тело было ватным, непослушным, голова кружилась, а перед глазами иногда вспыхивали какие-то искры.

Проходя мимо одного из домов, тех, что ещё подавали признаки жизни — на окнах висели ситцевые занавески, а из трубы шёл жидкий дымок, — она услышала голоса. Старческие, шуршащие, как осенние листья под ногами. Она не хотела прислушиваться, но ветер, как назло, дул в её сторону. «К Гореловой ведьме пошла, гляди-ка... — прошамкал один голос. — Вылитая Настька в молодости, один в один, как под копирку.

Только тогда Настька так же приехала, молодая да бойкая, а потом...» Голос стих, словно говорившая испугалась собственных слов. Алиса резко обернулась, готовая встретить насмешку или агрессию, но увидела только трёх старух, сидящих на покосившейся заваulinке. Они были похожи на ожившие мумии — их лица, изрезанные морщинами глубоко, как кора

столетних дубов, их глаза, блёклые, водянистые, почти бесцветные от возраста, смотрели прямо на неё, не мигая, с каким-то жутким, нечеловеческим любопытством.

У Алисы по спине пробежал холодок, тот самый, который не спутаешь ни с чем — первобытный страх, доставшийся нам от предков, которые знали, что в темноте живут чудовища. Но она не ответила, не вступила в конфликт, просто прибавила шаг, почти побежала, насколько позволял тяжёлый чемодан и разбитая дорога. Сил на конфликты не было, сил вообще ни на что не было. Хотелось просто доползти до этого чёртова дома и закрыть дверь. Закрыть дверь на ключ, на засов, на всё, что там найдётся, и отгородиться от всего мира.

Дом стоял на отшибе, в самом конце улицы, там, где она плавно переходила в поле, а поле упиралось в тёмную стену леса. Он не был той приземистой, покосившейся избушкой на курьих ножках, которую рисовало Алисино воображение, накормленное русскими сказками. Это был высокий, двухэтажный сруб на подклети, с мезонином и резными наличниками, которые когда-то, в незапамятные времена, были выкрашены яркой, небесно-синей краской, а теперь облупились до серого, почти серебряного дерева. Крыша, крытая дранкой, кое-где провалилась, обнажая тёмные, подгнившие стропила, но в целом дом не выглядел мёртвым.

Он не был развалиной, он не был руиной. Он просто спал. Спал долгим, глубоким сном, и в этом сне видел свои собственные, старые сны о тех временах, когда здесь кипела жизнь, горел свет в окнах и пахло пирогами. Калитка скрипнула — тяжело, протяжно, но не противно, а скорее печально, по-старчески, как вздыхает старый человек, усаживаясь в кресло. Двор зарос крапивой в человеческий рост и какими-то гигантскими, доисторическими лопухами, чьи листья были размером с зонтик. Сквозь эти заросли вела едва заметная тропинка, и Алиса с трудом, цепляясь чемоданом за стебли, пробралась к крыльцу. Ключ, по словам нотариуса, должен был лежать под половицей — «под третьей от порога, ежели считать от стены».

Она нагнулась, чувствуя, как хрустит позвоночник, отодрала трухлявую, податливую доску и действительно нашла его. Тяжёлый, кованый ключ, холодный и маслянистый на ощупь, словно его совсем недавно смазывали. Замок, против ожидания, провернулся с неожиданной лёгкостью, без скрежета и сопротивления, и дверь, тяжёлая, дубовая, открылась.

Внутри пахло сухими травами, воском и чем-то неуловимо сладким, напоминающим ладан, но не тот, церковный, тяжёлый, а какой-то другой, лёгкий, цветочный, с горьковатой нотой. Свет едва пробивался сквозь пыльные, немые окна, и в этом полумраке всё казалось зыбким, нереальным. Алиса зашла в сени, потом в горницу и замерла на пороге, не в силах сделать следующий шаг. В доме было чисто.

Не просто убрано — а именно чисто, по-настоящему, вылизано, как будто хозяйка вышла на минутку, буквально пять минут назад, и сейчас вернётся. Никакой паутины в углах, никакого мышиного помёта на полу, никакого налёта пыли на поверхностях. На столе, накрытом вязаной, слегка пожелтевшей от времени скатертью, стояла глиняная крынка с засохшим букетом бессмертника — тех самых оранжевых, жёстких цветов, которые не вянут годами. Икона в красном углу была завешена белым, вышитым красными петухами рушником, что показалось Алисе странным, даже тревожным — она никогда не видела, чтобы иконы завешивали, это противоречило всем её представлениям о православии. А ещё здесь были травы. Повсюду, куда ни глянь. Пучки сухих растений висели под потолком на льняных нитках, лежали на подоконниках, на печи, на лавках, были рассованы по холщовым мешочкам. Зверобой, душица, мята, тысячелистник, ромашка — эти Алиса узнавала, потому что бабушка в детстве заварив-

вала ей чай, когда болел живот или мучила бессонница. Но были и другие, совсем незнакомые, с резким, чуть ядовитым запахом. Она поставила чемодан у порога, не решаясь зайти дальше, и вдруг почувствовала, как дрожит пол под ногами.

Это был не подвал и не ветер, не сквозняк из плохо пригнанных половиц. Это была сама земля, старая, спрессованная, утрамбованная сотнями ног, хранящая в себе тепло и холод сотни зим, и она дышала. Или это у неё опять нервы? Алиса тяжело опустилась на лавку, стоящую у входа, и закрыла лицо руками. Достала пачку сигарет, повертела в пальцах, но поняла, что курить в этом доме не сможет — это было бы святотатством, кошунством, вторжением в чужое, освящённое временем пространство. Воздух внутри был особенным, он был густым, слоистым, он давил на виски, но не мучительно, как в метро или в опенспейсе, а мягко, настойчиво, словно предлагая уснуть, расслабиться, отпустить контроль и просто быть.

Спустя час, немного отдышавшись и восстановив способность соображать, она полезла в телефон, чтобы написать матери, что добралась. Короткое «Я на месте, всё нормально» — то, что требовал материнский инстинкт, даже если этот инстинкт был разбавлен многолетней обидой. Но экран был мёртв. Телефон, который она забыла поставить на зарядку в поезде, разрядился в ноль, и даже не подавал признаков жизни. Алиса чертыхнулась и начала искать розетку, но быстро поняла тщетность этого занятия — в доме не было ни одной розетки современного образца. Она нашла в углу старый, чугунный рубильник с деревянной ручкой и с трудом повернула его, но лампочки Ильича, свисающие на витых, матерчатых проводах, не загорелись. Электричество было отключено, и Алиса осталась одна. В сумерках. В доме прабабки, которую все в городе считали ведьмой.

С ней был только её чемодан, сумка с таблетками и нарастающее, пульсирующее где-то в затылке чувство нереальности происходящего. Единственный источник света, который она нашла после долгих поисков, — это огарок восковой свечи в тяжёлом, латунном подсвечнике, стоящем на подоконнике, словно его специально там оставили для неё. Она зажгла его своей зажигалкой, почти пустой, и пламя колыхнулось, затрепетало, отбрасывая на стены длинные, гротескные, танцующие тени. В их причудливом танце резные деревянные птицы на наличниках внутри дома оживали, расправляли крылья, открывали клювы в беззвучном крике.

Алиса смотрела на пламя, и её вдруг накрыло. Не рыданиями, не панической атакой, не тем изматывающим, истерическим плачем, который иногда прорывался сквозь защитные барьеры. А тем самым поздним, запоздалым осознанием, которого она боялась и от которого бежала все эти сутки в поезде. Она здесь совсем одна. У неё нет работы. Нет мужчины. Нет друзей, которые заметили бы её отсутствие раньше, чем через месяц. Нет сил, нет плана, нет будущего. И этот дом, который она получила в наследство от женщины, которую никогда не знала, вовсе не выглядит спасательным кругом — он выглядит прибежищем для окончательного, бесповоротного безумия, тем местом, куда приходят заканчивать свои дни. Тишина в Забьевске была не просто отсутствием шума. Это была отдельная сущность, живая, дышащая, обладающая собственной волей и собственными намерениями. Она не висела в воздухе пассивно, как в обычных тихих местах, — она активно вползала в уши через окна, через щели в ставнях, через неплотно пригнанные половицы, она просачивалась сквозь стены и забивалась в лёгкие, как вода. Эта тишина не успокаивала, не лечила истрёпанные нервы, как надеялась Алиса. Она требовала. Она настойчиво, властно требовала слушать. И Алиса, подчиняясь этому беззвучному приказу, начала слушать. Сначала она услышала собственное сердце — оно билось где-то в горле, неровно, с перебоями, как сломанный метроном.

Потом — шорох сухих трав под потолком, хотя сквозняка не было и пламя свечи стояло ровно, не колеблясь. Потом — звук, от которого волосы на затылке зашевелились, встали дыбом, а дыхание перехватило ледяной рукой. Это были шаги. Медленные, шаркающие, но очень тяжёлые, весомые, как будто шёл крупный, грузный человек. Они раздавались не снаружи, не от соседей, не с улицы. Шаги раздавались в сенях. Прямо за дверью, которую она не заперла, потому что задвижка была старинной, чугунной, и Алиса не разобралась, как она работает.

Она замерла, парализованная ледяной, сковавшей всё тело волной животного, первобытного ужаса. Она не могла пошевелиться, не могла отвести взгляд от двери, не могла даже закричать — её тело снова предало её, как тогда, в офисе, как в метро, как в бесконечных очередях к врачам. Она могла только смотреть на тёмную, гладкую поверхность старой двери и слушать, как приближаются шаги. Свеча дрожала в её руке, воск капал на пальцы, обжигал, но она не чувствовала боли, потому что всё её существо сосредоточилось на двери. Шаги остановились ровно за порогом горницы. В наступившей тишине, которая стала ещё глубже, ещё плотнее, Алиса услышала дыхание. Медленное, хриплое, с присвистом — такое же, как у нотариуса в телефонной трубке. Секунда. Другая. Вечность.

В двери не было глазка, не было стёкол, не было никакой возможности увидеть, что или кто стоит там, в темноте сеней. Но Алиса готова была поклясться чем угодно — своей жизнью, своей душой, остатками своего рассудка, — что чувствует взгляд. Тяжёлый, немигающий взгляд, полный не злобы, не угрозы, а холодного, изучающего, бесконечно терпеливого любопытства. Это была не галлюцинация от переутомления, не игра воображения, не побочный эффект от смешивания транквилизаторов. Это было нечто реальное, плотное, осязаемое, имеющее свой запах — запах сухих трав, воска и того самого ладана, цветочного и горьковатого одновременно. Алиса открыла рот, чтобы закричать, позвать на помощь, произнести хоть что-то, но голос пропал, исчез, растворился в этом густом, пряном воздухе. А шаги снова начались.

Теперь они медленно, с тем же ужасающим, старческим шарканьем, начали удаляться. В сторону крыльца. Вниз по ступеням. Медленно, тяжело, неотвратно. И вместе с их удалением из дома уходил тот странный, колдовской, тяжёлый запах, оставляя взамен лишь промозглую, сырую прохладу умирающего осеннего вечера. Алиса так и просидела с зажатой в побелевших пальцах догорающей свечой до самого рассвета. Она не спала, не двигалась, не думала — она просто смотрела на дверь, ожидая, что шаги вернуться, и понимая только одно, отчётливо, как вспышка молнии в ночи. Она бежала от московского шума и вездесущего, всепроникающего стресса в спасительную, как ей казалось, глушь. Но здесь, в Забьевске, в доме прабабки, которую все считали ведьмой, к ней пришло нечто гораздо более страшное, чем дедлайны, квартальные отчёты и гневные письма клиентов. К ней пришло то, что пряталось в тишине, то, что всегда было здесь и ждало её возвращения. То, чему не нужны были слова.

Глава 2. «Дом с зубами»

Рассвет пришёл медленно, словно нехотя. Сначала серое небо за окном чуть посветлело, стало не свинцовым, а пепельным. Потом проступили контуры предметов, которые всю ночь прятались в темноте. Алиса сидела на лавке, там же, где её настигли шаги, и смотрела, как догорает свеча. Огарок почти полностью растаял, воск залил латунный подсвечник, застыл причудливыми наплывами, похожими на миниатюрные сталактиты. Глаза у неё были сухими, воспалёнными, веки словно наждачной бумагой натёрли, но спать она больше не хотела. Тот тупой, животный ужас, который держал её в оцепенении всю ночь, с рассветом отступил, оставив после себя пустоту и странное, непривычное безразличие. Как будто внутри что-то перегорело окончательно, и теперь ей было всё равно. Были шаги? Были. Кто-то приходил? Приходил. Что это было — галлюцинация, призрак, местный пьяница, забредший в чужой дом? Какая теперь разница. Она сидела и смотрела, как за окном медленно, словно сквозь густой кисель, проступает Забьевск. Дом стоял на отшибе, окна выходили на поле, уходящее к тёмной стене леса. Утро было безветренным, и высохшие стебли прошлогодней травы стояли неподвижно, как мёртвые. В этом пейзаже было что-то застывшее, остановившееся, словно время здесь не текло, а стояло болотной водой, затянутой ярской.

Нужно было как-то обустраиваться. Или хотя бы осмотреть дом, в котором она собиралась жить неизвестно сколько. Алиса заставила себя встать. Тело затекло, шея болела от неудобной позы, левая нога затекла и отзывалась покалыванием. Она потянулась, хрустнула суставами и впервые за много часов глубоко вдохнула. Воздух был холодным, влажным и всё ещё хранил тот самый запах — травы, воск и лёгкий, горьковатый ладан. Сейчас, при свете дня, горница выглядела иначе. Не страшнее, а скорее печальнее. Выцветшие обои в мелкий цветочек, когда-то, наверное, весёлые и уютные, теперь пошли бурыми разводами от сырости. Белёная печь с лежанкой занимала добрую треть комнаты, и на её боку кто-то когда-то нарисовал углём неуклюжего петуха с грозно поднятым гребнем. Половицы были широкими, массивными, из тёмного, почти чёрного от времени дерева, и каждая, казалось, жила своей жизнью. Стоило Алисе сделать шаг, как одна из них утробно ухнула, другая скрипнула протяжно и тонко, третья издала звук, похожий на скрежет зубами. Алиса остановилась, прислушалась. Шагнула ещё раз. И снова — скрип, уханье, скрежет. Дом не молчал. Он разговаривал с ней, и голос у него был ворчливый, скрипучий, недовольный. Как будто старый дед, которого разбудили среди ночи, ворочается в постели и бормочет проклятия.

Она подошла к столу, провела пальцем по скатерти. Пыли не было — и это снова поразило её до мурашек. Как в доме, где никто не жил месяц, а может, и больше (нотариус говорил, что прабабка умерла месяц назад, но болела ли она до этого, лежала ли в больнице?), могло быть так чисто? Кто-то приходил убирать? Местные старухи, те самые, что шептались про ведьму? Или... Она оборвала мысль, не дав ей оформиться во что-то конкретное. Слишком много странного для одного утра. Вместо этого она решила исследовать дом методично, комната за комнатой, как учил её когда-то психотерапевт — когда тревожно, разбей задачу на маленькие шаги и выполняй их механически. Горница была самой большой комнатой, она служила и гостиной, и кухней, и, судя по лежанке на печи, спальней в зимние холода. Из неё вели две двери. Одна, та самая, в сени, через которую она вошла и через которую ушли ночные шаги. Вторая — маленькая, низкая, с облупившейся белой краской — вела, как предположила Алиса, во вторую комнату. Она толкнула её. Дверь поддалась не сразу, словно её держали изнутри, но потом резко, с неожиданной лёгкостью распахнулась.

Это была спальня. Или, точнее, то, что от неё осталось. Маленькая комната с одним окном, выходящим на задний двор, заросший так, что ветки сирени упирались прямо в стекло. У стены стояла железная кровать с панцирной сеткой, на которой лежал тощий, слежавшийся матрас в полосатом тике. Рядом — массивный, потемневший от времени комод с выдвигаемыми ящиками. В углу — прялка, старая, деревянная, с остатками кудели на гребне. Всё здесь было покрыто тончайшим слоем пыли, который стал заметен только при свете дня, и от этого комната казалась ещё более заброшенной, чем горница. Но внимание Алисы привлекло не это. В спальне тоже был красный угол — полочка, прибитая высоко, почти под самым потолком. Она ожидала увидеть там икону, образ Богородицы или Спаса, как полагается в деревенских домах. Но иконы не было. Вместо неё на полочке лежал пучок сухих трав, перевязанных чёрной, вылинявшей до серого шерстяной ниткой, и камень.

Обычный, на первый взгляд, серый гольш, чуть сплюснутый, размером с куриное яйцо, но с идеально круглой, будто высверленной дырой посередине. Куриный бог. Алиса знала это название — в детстве, когда её возили к бабушке в Тверскую область, местные мальчишки искали такие камни на речном берегу и вешали на верёвочку, на удачу. Считалось, что камень с дыркой защищает от сглаза, от нечистой силы, от злых духов. Она взяла его в руку. Камень был холодным, но не мёртво-холодным, как уличный булыжник, а каким-то живым, плотным, словно хранящим тепло земли. Алиса повертела его в пальцах, чувствуя непонятное, смутное беспокойство, и положила обратно. Травы пахли резко, незнакомо. Это был не зверобой, не душица, а что-то другое, терпкое, отдающее полынью и ещё каким-то незнакомым, чуть ядовитым ароматом.

В комодке она нашла то, что окончательно выбило её из равновесия. Ящики, когда она их выдвинула, оказались заполнены вещами. Не истлевшими тряпками, не мусором, а аккуратно сложенными старушечьими платьями, тёмными, глухими, с белыми воротничками-стоечками. Фартуками, вышитыми крестом. Шерстяными носками ручной вязки, переложенными сушёной лавандой от моли. В нижнем ящике лежали документы — пожелтевшие, ломкие на сгибах. Свидетельство о рождении Анастасии Павловны Гореловой, выданное в одна тысяча девятьсот двадцать первом году. Потёртая трудовая книжка, где единственной записью значилось: «Колхоз „Красный пахарь“, разнорабочая». И фотография.

Единственная. Старая, с волнистыми белыми краями, сделанная явно не в ателье, а каким-то любителем. На фотографии была женщина. Лет пятидесяти, может, чуть старше, с тяжёлым, неласковым лицом и тёмными, глубоко посаженными глазами, которые смотрели прямо в объектив, прямо сквозь время, прямо на Алису. Она стояла на фоне этого самого дома, только тогда он был новее, наличники ярче, а в палисаднике цвели какие-то высокие, похожие на мальвы цветы. Алиса долго смотрела на фотографию, пытаясь найти в этом лице свои черты. Что-то было в разрезе глаз, в изгибе бровей. Или ей только казалось. Она перевернула карточку. На обороте фиолетовыми чернилами, аккуратным, почти каллиграфическим почерком было выведено: «Анастасия Горелова. Забыевск. Июнь 1973». И ниже, другим почерком, более размашистым и бледным, приписка: «Та, что слышит землю».

День прошёл в каком-то тумане. Алиса пыталась наладить быт, хотя бы минимальный. Она нашла в сених ведро и пошла к колодцу, который обнаружился в дальнем конце двора, скрытый зарослями крапивы. Вода была ледяной, обжигающей, пахла железом и чем-то древним, как будто она только что поднялась из глубин, которых никогда не касалось солнце. Она принесла воды, кое-как умылась, разобрала часть вещей. Есть не хотелось совсем, орга-

низм, казалось, забыл, что такое голод, и существовал на каком-то внутреннем, резервном топливе. Несколько раз она ловила себя на том, что стоит посреди комнаты и просто смотрит в одну точку, не в силах пошевелиться. Это было похоже на зависание старого компьютера, когда процессор перегружен, и система уходит в глухую защиту.

Телефон по-прежнему был мёртв, и Алиса всё яснее осознавала, что осталась без связи с внешним миром. Это должно было пугать, вызывать панику, но вместо этого приносило странное, извращённое облегчение. Никто не звонит. Никто не пишет. Никто не требует отчётов, согласований, правок. Можно просто сидеть и смотреть в стену. Можно просто быть, не доказывая никому своё право на существование.

Когда начало смеркаться, вернулся страх. Не тот острый, парализующий ужас, который сковал её прошлой ночью, а медленный, ползучий, как холодная вода, поднимающаяся от подвала. Алиса зажгла новую свечу — она нашла в шкафу целый коробок, старый, ещё советский, с молотком и серпом на этикетке, набитый такими же восковыми огарками. Свет снова заплясал по стенам, и тени снова ожили. Она сидела у печи, на лежанке, постелив туда свои вещи вместо подушки, и вслушивалась в звуки дома. А дом жил.

Он потрескивал, постанывал, вздыхал. Где-то на чердаке, судя по звуку, возились голуби или летучие мыши. Где-то в стене, за обоями, слышался тихий, почти неслышный шорох. Мыши, подумала Алиса. Конечно, мыши. В старом деревенском доме всегда есть мыши. Они грызут перекрытия, шуршат в опилках, бегают по пустотам. Она убеждала себя в этом методично, упорно, как убеждают ребёнка, что в тёмной комнате нет чудовищ. Но шорох был какой-то нерегулярный, не похожий на мышиную возню. Он то затихал, то возобновлялся, и в его ритме было что-то осмысленное. Как будто кто-то не бегал, а слушал, прижавшись ухом к стене с той стороны.

Первый удар раздался около полуночи. Алиса знала время, потому что механические ходики на стене, которые она завела днём, как раз начали бить — глухо, с каким-то подвыванием. И сквозь этот бой она услышала стук. Чёткий, ритмичный, три удара с равными промежутками. Тук. Тук. Тук. Он шёл из стены, отделявшей горницу от спальни.

Той самой стены, где на полочке лежал куриный бог и пучок сухих трав. Алиса замерла. Свеча в руке дрогнула, тени метнулись по потолку. Стук повторился. Снова три удара, чётко, размеренно, с интервалом примерно в секунду. Тук. Тук. Тук. Это не было похоже на мышиную возню. Мыши не стучат. Мыши скребутся, шуршат, пищат, но не издают таких звуков — гулких, деревянных, как будто кто-то стучит костяшкой пальца по доске. Дом скрежетал зубами. Вот такая аналогия всплыла в голове у Алисы, и она показалась ей жутко, тошнотворно точной. Старый дом просыпался, разминал затёкшие челюсти и начинал медленно, методично перемалывать что-то своими невидимыми зубами. Тук. Тук. Тук.

Она не спала вторую ночь подряд. Сидела, прижавшись спиной к тёплому, но не горячему боку печи, смотрела на дрожащее пламя свечи и слушала, как в стене кто-то или что-то выбивает свой монотонный, трёхчастный ритм. Стук не ускорялся и не замедлялся, не становился громче или тише. Он просто был — настойчивый, упорный, как сердцебиение самого дома. И под этот ритм мысли Алисы текли медленно, вязко, как река, покрытая льдом.

Она вспоминала слова старух: «К Гореловой ведьме пошла». Ведьма. Прабабка, которую все боялись. Та, что слышит землю. Что это вообще значит — слышать землю? Слышать, как

растёт трава? Как черви роют ходы? Как вода просачивается сквозь породу? Или это метафора, старая крестьянская присказка, означающая что-то совсем другое? Она не знала. Она не знала почти ничего ни о своей семье, ни об этом доме, ни о том, что ей теперь делать. Она просто слушала, как дом скрежещет зубами, и ждала рассвета.

Под утро, когда небо за окном снова начало сереть, стук прекратился. Не постепенно, не затихая, а разом, как будто кто-то выключил рубильник. И в наступившей тишине Алиса услышала другой звук. Тихий, едва различимый, но отчётливый. Вдох. Глубокий, протяжный, полный какой-то древней, неизбывной печали. Он шёл не из стены, не из-за двери. Он шёл отовсюду и ниоткуда одновременно. И Алиса поняла: дом не просто живой. Дом слушает её так же, как она слушает его.

Глава 3. «Соседка с дурным глазом»

Утро после второй бессонной ночи Алиса встретила в каком-то сомнамбулическом состоянии. Тело существовало отдельно от сознания, двигалось на автопилоте, выполняло базовые действия — встать, умыться ледяной колодезной водой, механически растереть лицо, *mechanically* заварить в найденной эмалированной кружке какой-то травяной сбор, пахнущий мятой и ещё чем-то неуловимым. Сознание же плавало где-то под потолком, вязкое и безучастное, как муха в сиропе. Она не спала почти двое суток, если не считать того химического забытья в поезде, и перед глазами всё плыло, а звуки то обострялись до невыносимой резкости, то уходили в глухую вату. Стук в стене прекратился с рассветом, но эхо его всё ещё звучало где-то в глубине черепной коробки, и Алиса ловила себя на том, что машинально отсчитывает ритм — тук-тук-тук, тук-тук-тук, — как отсчитывают навязчивую мелодию.

Дом днём снова притворялся мёртвым. Половицы молчали, стены не стонали, и только лёгкий сквозняк, гуляющий по комнатам, шевелил пучки сухих трав под потолком, заставляя их тихо, едва слышно перешёптываться.

Алиса сидела на лавке, пила обжигающий травяной отвар и тупо смотрела в окно, за которым всё та же серая пелена затягивала небо, всё то же поле уходило к лесу, всё та же неподвижность царила в мире. Ей нужно было выйти из дома. Она понимала это какой-то остаточной, рациональной частью мозга. Нужно было разведать обстановку, найти магазин, если он здесь вообще есть, купить еды, может быть, раздобыть переходник для зарядки телефона или хотя бы выяснить, работает ли местная почта. Но главное — нужно было просто сменить картинку перед глазами, потому что стены дома начинали давить, смыкаться, дышать в затылок.

Она натянула куртку, намотала на шею шарф — сентябрьский ветер в Забьевске был пронизывающим, сырым, пробирающим до костей, — и вышла на крыльцо. Двор встретил её всё тем же запустением: крапива, лопухи, покосившийся забор. Но днём, при свете, это выглядело не зловеще, а просто заброшенно и печально. Калитка скрипнула знакомым уже старческим скрипом, и Алиса ступила на грунтовую дорогу, ведущую к центру, туда, где она вчера видела вывеску «Сельпо» и облупленный почтовый ящик. Улица была пустынна. Те же купеческие дома с заколоченными окнами, те же покосившиеся заборы, та же тишина, нарушаемая только карканьем ворон где-то в кронах старых лип. Но теперь Алиса заметила то, что ускользнуло от её внимания в первый день.

Забьевск не был полностью мёртв. Кое-где из труб поднимался дымок, кое-где в окнах горел тусклый, жёлтый свет, кое-где за заборами слышалось кудахтанье кур или блеяние козы. Жизнь здесь теплилась, но теплилась она скрытно, испуганно, как огонёк свечи, заслоняемый ладонью от ветра. Алиса шла медленно, разглядывая дома, и вдруг почувствовала, что за ней наблюдают. Это было то самое, первобытное ощущение, которое не спутаешь ни с чем — лёгкий холодок между лопаток, безотчётное желание втянуть голову в плечи, ускорить шаг. Она обернулась. На соседнем участке, том, что примыкал к дому Гореловой справа, стояла женщина. Вернее, старуха — высокая, прямая, как палка, в тёмном платке, повязанном по-деревенски низко, до бровей, и в длинной, не по росту, телогрейке, накинутой на плечи. Она стояла у покосившегося штакетника и смотрела на Алису.

Взгляд у неё был не просто пристальным — он был пронизывающим, сверлящим, и в нём читалось сразу всё: и жадное, нездоровое любопытство, и вековая, укоренившаяся в крови подозрительность, и что-то ещё, чему Алиса не могла подобрать названия. Смесь жалости и неодобрения — вот как это можно было описать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.